

испытать люди, под влиянием чувства, вызываемого смертью самых близких людей, т. е. родителей, чувства столь же общего всем людям, как обща всем смерть, которая потому и может всех объединить. Передача чувства теми, которые сильнее чувствуют, тем, которые чувствуют слабее, имеет лишь временное значение и большой важности в себе не заключает, потому что для смерти нет нужды в красноречивых толкователях, чтобы оказывать могучее действие к объединению, в особенности, если будут приобретаться всё новые и новые средства для воздействия на умерщвляющую силу. Только в деле возвращения жизни всем умершим могут объединиться все живущие, без этого же никакое красноречие и никакие художественные средства братского единения произвести не могут... Противодействием этому объединению служат все соблазны, совокупность которых можно видеть на всемирных выставках... Какое искусство может победить эту выставку, которая втянула в себя все искусства?

11-го июля 1898 года.

г. Воронеж

2. Об истине и красоте в статье Толстого «Что такое искусство?»

Судя по серьёзности писателя и по чрезвычайной важности предмета, какова истина, нужно полагать, что определение истины сделано не кое-как, а с самою строгою точностью. Самое презрение, которое писатель выражает к истине, требовало от него тем паче осмотрительности и величайшей строгости в определении. Так мы и принимаем определение истины, сделанное в статье «Что такое искусство?»!

Если истина, по словам Толстого, есть только соответствие определения предмета с самою его сущностью, — то, во всяком случае, чтобы быть истиною, определение предмета должно иметь исчерпывающую полноту, т. е. <обнимать> все его свойства, явления, в нём и на нём происходящие. Если же сущность предмета, как говорит Толстой, равна всеобщему всех людей пониманию предмета, то это, конечно, означает безусловное обладание предметом. Принимая же за предмет истины всё, подлежащее знанию, всю вселенную, не исключая и людей в их прошедшем и настоящем, а за познающих (или понимающих)

принимая действительно всех людей, т. е. не живущих только теперь, но и всех живших, словом — все поколения человеческие, — тогда мы будем иметь, с одной стороны, — совокупность всех миров, подобных нашей земле, солнцу (согласно Коперниканскому мировоззрению), а с другой — совокупность всех человеческих поколений, т. е. всех разумных существ. В каком же случае явления, происходящие в первых, т. е. во всех мирах, будут необходимо соответствовать представлению, пониманию их в последних, т. е. в разумных существах? Конечно, тогда только, когда движения этих миров и явления, в них и на них происходящие, будут выражением разума всех поколений, т. е. когда разумные существа в их совокупности будут управлять слепую силу миров, силою, движущею миры и производящею <в них и> на них различные явления. Когда это будет так, — и только тогда, — понимание или представление миров будет необходимо соответствовать их сущности, т. е. знание доказывается делом, наука доказывается искусством. Давая презрительное определение истины, утверждая, что она есть только (!) соответствие между предметом и мыслью, Толстой и не думал, конечно, что для полного их соответствия нужно, чтобы разумная сила управляла слепую силу (тою силою, которая носит в себе голод, язвы и смерть), а потому никакого добра от истины и не чаял. Управление <же> слепую, умерщвляющею силою разве не есть самое великое добро? Ведь таким управлением объединение распространяется и на умерших, на всех без всяких исключений, и безобразию тления оно дает красоту, или благолепие, нетления, красоту телесную, в которой выражается духовная и нравственная красота. Во что же обращается этот торжествующий вопрос, заключающий в себе, по мнению Толстого, и самый ответ, — таким несомненным он ему представляется, — «что же общего между понятиями красоты и истины — с одной стороны, и добра — с другой?..»⁵ Общее между ними оказывается то, что их и отделить одно от другого нельзя.

До сих пор мы рассматривали добро во всеоружии знания и искусства, теперь же попробуем отделить от него и знание, и искусство, лишить его органов, орудий естественных и искусственных, всякого знания и умения, — даже сознание нельзя ему оставить, потому что сознание не может быть отделено от знания. Отделив же всё это, во что обратится добро? Это будет слепая сила, слепое влечение, ни в чём себя не выражающее, ни в чём

себя не проявляющее. Человека, желающего добра, лишить знания, т. е. истины, это значит — лишить его возможности делать добро, это значит подвергнуть его величайшему наказанию, мучению. Впрочем, если добро заключается в не-делании и не-думании, как это и проповедывал Толстой, в таком случае добро и не требует никакого выражения или проявления, потому что и само обращается в ничто, в нирвану, и это значит, что добра также нет, как нет, по Толстому, и истины. Вот к чему приводит отделение добра от истины; а если отделить от добра красоту, т. е. то, что нравится, что доставляет не только радость, удовольствие, но производит восторг, восхищение, энтузиазм (пребывание в Боге), — добро окажется тем, что нам не нравится, что доставляет огорчение, отвращение, или — по меньшей мере — окажется тем, к чему мы остаёмся равнодушными. В этом случае делать добро, т. е. то, что не нравится, значит подвергать себя мучениям; если же мы остаёмся к добру равнодушными, в таком случае в нашем деле, — когда будем делать добро, — будет выражаться бездушие. Где же тут нравственная или духовная красота?!.. А между тем определение добра тем, что нам не нравится, или, во всяком случае, тем, к чему мы равнодушны, прямо вытекает из определения, которое Толстой даёт красоте, признавая за красоту то, что нам нравится, и говоря, что красота противоположна или скорее противоположна добру. Очевидно, Толстой принимает за истину и красоту искажения их, вызвавшие такие положения, как наука для науки, искусство для искусства, и за этими искажениями не видит ни истины, ни красоты; отделяя же добро от истины и красоты, он и добро обращает по меньшей мере в ничто и требует для этого ничто делать всё. И какой же практический результат всех этих рассуждений?!.. Разве тот, что возбуждая к добру равнодушие, если уже не отвращение, Толстой обращает жизнь людей, вынужденных тем не менее делать добро, в сплошной, беспросветный ад; так что у Толстого, можно сказать, есть лишь ад, ад безысходный, и нет не только рая, но даже и чистилища. — Отвергая науку для науки и искусство для искусства, почему Толстой не хотел согласиться с тем, чтобы и наука и искусство стали средством осуществления высшего блага, т. е. воскрешения, которое есть объединение всех без исключения, а не живущих только?!.. Потому что воскрешение невозможно?!.. О том, что такое невозможно, выше было уже сказано. Пусть однако <будет> так, но сам Толстой признал воз-

возможным такое действие на облака и тучи, чтобы они проливали дождь там, где он нужен; почему же он отказался содействовать силою своего авторитета, — как это ему предлагали, — в видах обращения войска в орудие такого действия и даже ничего не ответил на обращённый к нему категорический вопрос: что лучше — бросить ли оружие, или же обратить его на спасение от голода, т. е. от такого общего всем людям бедствия, борьба с которым необходимо привела бы людей к объединению?!.. Не потому ли всё это так несимпатично Толстому, что, обратив действие на слепую силу природы, не было бы надобности и в проповеди — «не плати податей», «не исполняй воинской повинности» и всего тому подобного, проповедуемого Толстым под видом учения «о непротивлении», а в сущности возбуждающего к противлению; тогда, напротив, пришлось бы проникнуться благоговением «к лицу короля», преданностию «к знамени»⁶. Толстой так привык к осуждению для осуждения, что остановиться уже не может и поневоле относится враждебно ко всему, что грозит прекращением этой деятельности, бесплодности и даже вредности которой он видеть не хочет.

Толстой оканчивает свою статью об искусстве надеждою или признанием, а вернее лишь уступкою, что в будущем, быть может, будут открыты новые идеалы, высшие тех, которые он признаёт... Но ещё двадцать лет тому назад (в марте 1878 г.) в письме известного писателя Ф. М. Достоевского, напечатанном лишь в 1897 году, был указан идеал, которого — признаваемый Толстым составляет, конечно, только часть⁷. Кроме того, об идеале Достоевского можно говорить лишь в единственном числе, ибо Существо всесовершенное служит ему источником и образцом. Употребление слова идеал во множественном числе указывает на непризнание одного истинного идеала, указывает на разъединение, на странное опасение объединением ограничить свободу личностей, тогда как объединение лишь увеличивает могущество каждой личности... Впрочем, Достоевский назвал идеал, о котором говорит в вышеозначенном письме, долгом, показывая тем, что этот идеал должен и может быть осуществляем каждым и всеми в совокупности, а не оставаться призраком, манящим и никогда не достигаемым, каковы идеалы, о которых говорят во множественном числе и для которых недостижимость есть существеннейшее свойство. Конечно, не следовало бы и говорить об идеале Достоевского, если бы исполнение его зависело от осуществления идеала Толстого, <— по которому задача заключается в осуществле-

нии братского единения людей,> — но оказывается, что только при осуществлении идеала, т. е. долга, Достоевского возможно исполнение и идеала Толстого, полагая, конечно, что идеал Толстого не призрак, не мираж, не всегда останется лишь в мысли, но будет и делом. Несомненно, что идеал Толстого составляет лишь часть всеобъемлющего идеала Достоевского уже потому, что идеал Достоевского обнимает всех без произвольного исключения тех, которые не имели возможности даже слышать проповедь о братском единении, — разумею живших до начала этой проповеди, — не говоря уже о блаженстве испытать или жить в братском единстве, чем и до сих пор никто не пользуется. По смыслу долга Достоевского объединение не ограничивается живущими, а распространяется и на всех умерших, оживляя их; причём это оживление не только ставится долгом для живущих, но и признаётся необходимым условием братского объединения и самих живущих, необходимым, следовательно, условием осуществления идеала Толстого. Это оживление и есть искусство самое естественное; если оно и не творчество, то воссоздание, воспроизведение, совершаемое по образу и по подобию самого Творца всеми людьми как единым художником. Это искусство не ограничивается словом, не есть оно и изображение на полотне, на камне, это не обман, не кажущееся лишь, а действительное оживление умерших. Пред таким великим делом, как действительное оживление, не могут не умолкнуть все раздоры, и не только уничтожатся внешние раздоры, но живущие объединятся и внутренне, нося каждый в себе психо-физиологические образы отцов, как основу братства, и переводя их из внутреннего, из мысли в дело, из представления в действительность... В этом лишь деле и выразится вся глубина братского единения, и здесь, действительно, добродетель сама себе служит наградою, за добродетель труда воскрешения отцов награждаются добродетелью братского объединения сыны. По идеалу же Толстого, в котором он и сам не признаёт красоты, — не признаёт того, что может нравиться, что может возбуждать к себе глубокую любовь, во имя чего будут отказываться от вражды, от лишения, жажду которого, как это хорошо известно, конечно, и Толстому, победить не легко, — по идеалу Толстого только пустота и ничто будут наградою за отречение от порочных страстей. Искусству Толстого увлекать или отвлекать от пороков нечем. Грозить наказанием как следствием порока, — что видим в рассказе Толстого, в котором он грозит за земельную жадность крестьянам, страдающим малоземельем, трёхаршинным наделом, — но угроза наказанием ослабля-

ет добродетель, лишает её ценности. Толстой не назвал свой идеал даже долгом объединения и не дал себе ни малейшего труда подумать о том, как привести в исполнение объединение, не позаботился о том, чтобы составить проект объединения, указать не на одну цель, но и на трудности и на средства к осуществлению. А между тем все имеют право спросить Толстого, что нужно делать, чтобы достигнуть братского объединения. Сказать только «не войой» оказывается недостаточным, — Толстой давно уже сказал это и Америка знает эту его заповедь⁸.

3. По поводу статьи Л. Толстого: «Не убий»

**Есть ли История — истребление, или История войн,
<т. е.> убийств со стороны властителей?**

В противоположность прокламации Толстого, мы должны признать убийство виною, грехом не других только, а самих себя, т. е. всеобщим, наследственным грехом, и всем в совокупности, в союзе, притом всеми своими силами и способностями, <надлежит> искупить грех — убийство — противоположною ему добродетелью.

Начало этому искуплению положено уже много веков тому назад, и до сих пор <оно> не подвинулось ни на один шаг, даже соединения для этого не совершилось, потому что и знание, и искусство человеческое и все силы их употребляются не для того, чтобы снять с себя тяжесть греха лишения жизни всех умерших поколений. Живём мы или для себя, или для других, для разных мелких дел, а не все в совокупности, все живущие, все сыны для одного всеобщего дела, которое только и может возратить ценность и обанкротившейся науке, и утратившему ценность искусству. Только когда наука станет знанием всех разумных существ, всех сынов умерших отцов, имея своим предметом самую силу рождающую и умерщвляющую, и Искусство также всех <будет> пользоваться этою силою, чтобы созидать не мёртвые подобию, а действительное воссозидание и оживление, <только тогда> эти Сверхнаука и Сверх-Искусство будут исполнительницами требований Супраморализма. Только наглость никогда не думавших об этих вопросах может говорить о невозможности этого единственного средства искупления всеобщего греха.